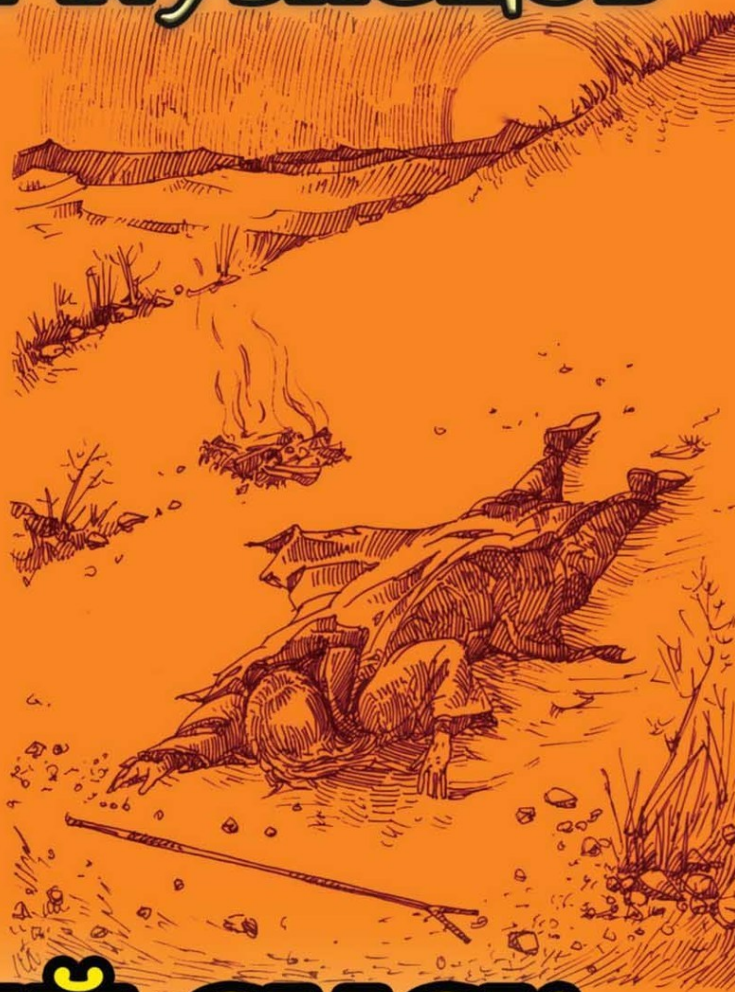


ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Евгений Кузнецов



КНЯЖИЙ СЫСК



ПОСЛЕДНЯЯ СВАТЫНЯ

«КРЫЛОВ»



Исторический детектив

Евгений Кузнецов

**Княжий сыск. Последняя святыня**

«Крылов»

2018

УДК 177.5  
ББК 88.5

**Кузнецов Е.**

Княжий сыск. Последняя святыня / Е. Кузнецов — «Крылов»,  
2018 — (Исторический детектив)

ISBN 978-5-4226-0314-5

Бывший княжеский мечник Александр, казалось, наконец-то обрел покой: дом, семья, работа в кузнице. Но однажды купец Рогуля уговаривает его отправиться с товарами в Тверь, взять на себя охрану торгового обоза. Вроде бы ничего особенного, всего лишь обычная поездка по спокойным русским дорогам, всего лишь туда и обратно. Да только не в этот раз. В этот раз он угодит в самое пекло. И бывшему мечнику придется вспомнить все свои навыки: и воина-бойца, и розысника. И придется ему получить задание от князя Ивана Даниловича Калиты – отыскать реликвию, ценнее которой на Руси не было и, возможно, никогда не будет, за обладание которой любой князь готов на всё что угодно...

УДК 177.5

ББК 88.5

ISBN 978-5-4226-0314-5

© Кузнецов Е., 2018

© Крылов, 2018

## Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	19
Глава третья	27
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# **Евгений Кузнецов**

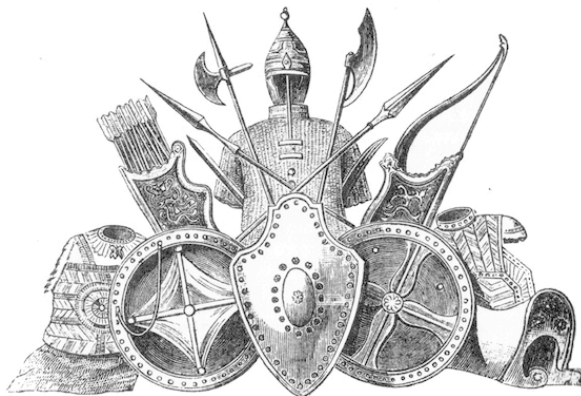
## **Княжий сыск. Последняя святыня**

© Кузнецов Е., 2018 © ИК «Крылов», 2018

\* \* \*



## Глава первая



Жаркий июльский день близился к концу, и вечер был готов упокоить прокалённую солнцем землю, когда на взгорок за селом к стоявшей тут кузнице подкатила тяжёлая длинная телега. Зной выжег всякое движение вокруг, и только высокая деревянная труба, выдавливавшая жиденькую струйку дыма, говорила о жизни кузни. Приезжий – молодой, чисто одетый мужик – направил коня к коновязи, привязал и заглянул в широкие распахнутые ворота:

– Хозяин! А?! Кто живой есть?

Полумрак помещения, в котором при желании можно было разместить с полдюжины телег, пыхнул в ответ волной угольного чада, сбрыкало железо в углу за горном, и несколько времени спустя взору гостя предстал крепкий старик в рыжем кожаном переднике. Это и был деревенский кузнец.

– Здравствуй, дядька Никифор! – приветствовал старика приезжий. – Бог в помощь...

– Спасибо на добром слове, и ты будь здоров, – кузнец прищурил ослепшие от яркого света глаза и почесался согнутой спиной о ближайший столб конского станка, – давненько мы с тобой, Рогуля, не видались, здравствуй, здравствуй... Заматерел ты, однако, не сразу и признаешь тебя. Брюшко отпустил! Ты как, всё в стольном граде обретаешься?

Приезжий стянул с головы отороченную кунницей шапку, столь неуместную в жару, но надетую, видимо, для пущей важности. Утёрши лоб подкладом шапки, он сунул ее за богато украшенный серебряными бляхами пояс и степенно ответил:

– Я-то всё больше в разъездах, наше дело купеческое. А семейство мое, верно, там, в Москве, на посаде живет.

– А к нам какими судьбами?

– В кои веки путь в эту сторону пролёг, за товаром в Можай сбегать, так дай, думаю, матушку с сеструхами навещу. Погостил денёк, завтра дальше собрался, ан глядь, а задняя ось у телеги с трещинкой. Вот и заехал к тебе. Помоги, дядька...

– Такую мелочь мы в два счёта состряпаем, – с готовностью откликнулся кузнец, не делая ни малейшего движения к исполнению заказа, а напротив, усаживаясь на чурбачок у ворот. – А что, ты, небось, и в Нижнем бывал иль до Сарая добирался?

– Бывал, – гость махнул рукой, – я, дядька Никифор, за эти годы куда только со своим товаром не ходил! Не поверишь, один раз даже до Урал-камня судьба довела.

– Фью-ить! Урал... Это ж надо! – кузнец цыкнул зубом и покачал головой. – Мы в свое время и подумать о таком диве не могли. Сидим, понимаешь, весь век в своей деревне, как тараканы за печкой, а вы, молодые, нынче так и полгаете туда-сюда, туда-сюда, туда... У меня и Сашка-племяш такой же, как ты.

– Я слышал, что Сашка года два как в слободу воротился?

– Это не сбrehали: бросил Саня княжью службу, да и вернулся со всей семьей. Хозяйство ведёт – и кузня на нем, и дом, и скотина. Он теперь большак в доме, а я уж так, по старой памяти тюкаю железки помаленьку. Вот подучу его – и на покой, сказки внукам рассказывать: «В некотором царстве, в некотором государстве...».

Рогуля с сомнением поглядел на дюжего старика, о силе которого по слободе в оные годы ходили легенды, а в курчавых волосах лишь на висках скромно блестели прядки седины, и перевёл беседу на более близкие уму и карману торговца дела:

– А что, дядя Никифор, нет ли у тебя какого товара на продажу? Я через неделю в Тверь на ярмарку собираюсь, хорошую цену дам. Иль, может, Сашка с нами поедет, сам расторгнется?

Кузнец не спешил с ответом, он сгрёб бороду в большую заскорузлую ладонь с навек вьевшейся в расплющенные пальцы ржавчиной, огладил ее и, снова распушив, сказал:

– Чего-то ты, Рогуля, добр сегодня, как архиерей на Пасху. Товар у меня есть, одних ухватов с полсотни штук намастерили, да шкворни, да пробой, да петли дверные. А чтобы племянш мой с тобой ехал... Ты у него самого спроси, вон он, легок на помине.

В той стороне, куда указала рука старика, из леса, лежавшего за неширокой нивой с низкорослой доспевающей рожью, показался воз сена и шагавший подле него высокий мужик. Наверху воза, крест-накрест охваченного перекинутой веревкой, сидел мальчонка лет семи-восьми. Подвода остановилась против кузни, возничий принял на руки скатившегося с сена мальчугана и, передав ему вожжи, подошел к собеседникам:

– Что, батя, работка прибыла? Здравствуйте вам...

На вид племяннику кузнеца было чуть за тридцать лет. Высокий, неширокий в кости, он совсем не шел в породу приземистого дядьки. Светло-русые с оттенком рыжины волосы, стриженные в скобку, также не имели хотя бы и отдаленного родства с кудлатой черной растительностью Никифора. Был он бос, весь наряд его составляли длинная серая льняная рубаша да порты с заплатами на коленях. Он вгляделся в лицо гостя и, видимо, узнал, но особой радости от встречи не выказал:

– С приездом, Рогуля... А я-то думаю, чего мне наемдни ворон чёрный снился? Вроде как я своего каурого, да не нынешнего, а того, прежнего, к водопою веду, а на изгороди в проулке – ворон. Мы мимо проходим, а вещун коню и говорит человеческим голосом, мол, ты чего хозяину не сказываешь, что пора тебя не сеном, а чистым овсом кормить? После тебя на дороге, говорит, и поклевать нечего. А мой каурый вроде как удивляется: ты ж не воробей, чтоб навоз клевать. Вздыхает тут ворон: рад бы, да мертвечинки-то нетуть. И пропал. К чему бы такой сон?

– К деньгам! – натянуто хохотнул Рогуля. – Ты, вижу, все такой же выдумщик как раньше. Я к тебе не вороном прилетел, дядьке твоему уже сказывал: поехали со мной в Тверь, поторгнем. Мне б хороший попутчик в обузу не был, я и приплатить готов. Да и, ходили слухи, бывал ты в тех краях?

– Шла молва, и была такова... – пожал плечами Сашка, – ты, Егорий, своё сказал, а я подумаю. Ответ завтра дам. И с повозкой твоей завтра разберемся с утра, наломался я сегодня на покосе, день жаркий был.

Когда купец не очень ловко вскарабкался на выпяженного из телеги коня и уехал, Сашка задумчиво поглядел ему вслед:

– А в Твери сейчас, сказывают, татары...

– Поедешь? – спросил старик-кузнец.

– Не знаю. С покосом-то за неделю управлюсь, скирды поставлю, а остатнее хозяйство на вас с Машкой ляжет. Я тебе не говорил: тяжёлая она, побережь бы ее надо.

– Опять?!

– Что «опять»? Восемь лет как из-под венца и только третьего ждем, это, по-твоему, много?

– Я говорю: опять мне всю бабью работу в доме делать придется?

– Ну, положим, козу доить тебя в прошлый раз никто не заставлял, сам взялся. А то, что Архипка-Батама тебя за этим занятием углядел и по деревне растрезвонил, так двери в овчарню запирать надо было...

– А ты же ходил на речку бельё стирать, и хоть бы кто засмеялся!

– Попробовали бы! Я, батя, в полном воинском доспехе стирал, в латах и при мече.

– Брехун, – засмеялся старик, – ты всегда ночью на речку крался, чтоб никто не видал. Эй, Мишаня, – окликнул он мальчонку, все еще стоявшего при возу, – давай гони сено на двор. Мамке скажи, мол, тятка с дедушкой скоро придут.

Парнишка обрадованно кивнул, легонько дернул вожжи, крикнул по-взрослому «но-о, пошла!» и важно зашагал рядом с телегой.

\* \* \*

К племяннику кузнеца на селе относились по-разному. Одинец, прозвище, прилипшее к Сашке с той давней поры, когда он в одночасье лишился отца и матери, как нельзя больше соответствовало его натуре и в годы возмужалости: больших сборищ он сторонился, хлеб-соль водил лишь с двумя-тремя мужиками, друзьями детства, да кой с кем из немногочисленной родни жены. Своей роднёй Одинец был обделен, родители его приехали в Михайлову слободу, сельцо князя московского, стоявшее недалеко от прямой дороги на Можай, совсем незадолго до того памятного и страшного лета 1302 года от Рождества Христова.

О-о, это лето в селе помнили и двадцать с лишком лет спустя! Годом ранее случилась скоротечная война между правителями рязанского и московского княжеств, завершившаяся пленением и заточением в московскую темницу рязанского князя Константина Романовича. И вот на следующее лето рязанцы ответили ударом на удар. Правда, было совсем не похоже, что целью скорого набега служило освобождение их бывшего господина, поскольку Москву рязанская конная рать обошла стороной. Целью была месть москвичам за разорение рязанщины. Ну, и пограбить чего на скорую руку.

Нежданно ворвались тогда в мирные улицы рязанские конники, рассеялись меж избами, на полном ходу пуская стрелы во все живое, не успевшее укрыться от внезапного наскока. Не было спасенья: самых увёртливых, кого миновала свистящая стрела передовых дружинников, находил тяжелый меч задних. Немногочисленные слободские мужики, пытавшиеся защитить свои семейства и хозяйства, гибли на дворах, пятная кровавыми лужами пыль дорожек, по которым когда-то младенцами сделали первые в жизни шаги. Да и что могли землепашцы, вооруженные коротеньким плотницким топором или случайным дрекольём, противопоставить злой, обученной калечить и убивать силе опытных воинов?

Уцелели из хозяев лишь те, кто находился на лесных делянках, уцелели девки да ребятишки, спозаранку отправленные родителями по грибы и ягоды, уцелели и некоторые старики, которых и учить не надо было как скрываться в огородном бурьяне.

Вот от них, уцелевших, и пошел по селу часто поминаемый рассказ, как прибежал от кузни на загоревшийся двор Сашкин отец и увидел жену свою (упокой, Господи, душу рабы твоей, Анны; какая работящая была, приветливая, а певунья какая!), всю расхристанную, в разорванной рубаше, под рязанским воином, в кругу гоготающих потных победителей.

Недюжинной силы был Стёпка, вспоминали тут старики. Как зачал он вилами орудовать, ну словно снопы клал! Всю бы рать рязанскую так и положил, не найди его со спины калёная стрела...



Упавшего Степана дружинники остервенело кололи копьями и мечами, а когда пришедшая в себя Анна вместо того, чтобы бежать куда глаза глядят, бросилась прикрыть собой обезображенный труп мужа, кривой на один глаз верзила, так и не дождавшийся своей очереди в кобельей потехе, вонзил в нее вилы, выпавшие из Степановой руки. «Да-а... – завершали свой рассказ старики, – вот какие мужики в нашем селе раньше живали!»

Рязанцы ускакали из села не мешкая, едва успев набить дорожные сумы теми вещами, какие впопыхах нашарили в обезлюдевших домах. Забрали с собой и всех лошадей. Остальную найденную на подворьях скотину просто порезали. Благо, такой было мало: основное стадо паслось на дальнем выгоне и на пути им не попало.

Только ввечеру с опаской воротившиеся на пепелища односельчане отыскиали десятилетнего сына кузнеца. Нашёлся он под крышей не затронутого огнем амбара. Мальчишка, невольный свидетель страшной гибели родителей, был как деревянный, не видел и не слышал разыскивавших его. Так он и стал сирота, одинец. Немота его прошла, оставив заикание, но и оно со временем утихло. Месяца через два, в сентябре, называвшемся тогда «серпень», в село явился угрюмого вида коренастый чернобородый мужик. Он сказался старшим братом покойного кузнеца, бывшим жителем черниговских краёв, несколько лет проводившим в татарском полоне. И вот теперь, отпущенный на волю вдовой покойного сарайского мурзы, он разыскивал родных, по слухам, переехавшим в это подмосковное село. Власия Петрова, михайловского старосту, ставленного управлять селом от московского князя Даниила, убедили три обстоятельства. Никифор, так звали захожего черниговца, действительно оказался отменным кузнецом. Кроме того, кучка монет, высыпанных бродягой перед княжым слугой, была в два раза больше той, что мог получить он, сдав мужика на руки княжеским приставам. И вдобавок, Сашка, дичившийся людей, при первом же свидании с Никифором так доверчиво прильнул к названному «дяде», что у Власия, действительно, шевельнулись сомнения: «Бог знает, может, мальчишка и впрямь помнит что-то из младенчества?»

Никифору было позволено остаться в селе, а со временем его неясное прошлое решительно перестало кого-либо интересовать. Был он не лежебок, искусен в ковании лошадей и не болел похмелем, хотя от предложенной чарки никогда не отказывался.

Дядька, позвав соседей «на помочи», быстро отстроил дом на месте сгоревшего, и они зажили там сначала вдвоем с Сашкой, а затем, когда нестарый еще кузнец сосватал за себя тихую бездетную вдовицу из-за реки, втроем. Вдова, однако, недолго составляла семейное счастье кузнеца и через несколько лет померла также тихонько и незаметно, как жила, оставив по себе в Никифоре незабвенную память: в родительские субботы он неизменно ставил в храме свечу, давал гнусавенькому отцу Алоизию монету на помин души усопшей рабы и к вечеру напивался в дым. Сашке дядька Никифор заменил и отца, и мать. И хотя детская память цепко хранила их образы, никакого напряжения в душе отрока не возникало: Сашка сразу и безоговорочно перенес на дядьку сыновьи чувства, прежде испытываемые к родителям. Попроси его кто объяснить, он бы не смог выразить внятно, почему в его глазах никогда прежде не виданный им мужик стал прямым продолжением отца, да таким, что будто и не было страшной смерти последнего. Дело, скорей всего, объяснялось тем, что мальчишка не примирился с чудовищно несправедливой его гибелью. Отец был жив, и все тут! В другом образе, но – жив. И матушка для него была жива, не рядом, не показываясь въявь, а – жива. Иногда его постоянное внутреннее общение с родителями вызывало недоумение окружающих. «Не от мира сего», – говорили, снисходительно прощая сироте эту странность.

Что касается жизни всего села, то более никогда в продолжение минувших после того двадцати с лишком лет оно не подвергалось нападению вражьих сил. При всей царившей на русской земле смуте, когда редкий год проходил без малой или большой распри меж правителями отдельных княжеств, все эти усобицы не особо и касались землепашцев. Для войн, ратей и походов княжеским особам хватало, как правило, их собственных постоянных дру-

жин. Ополчение созывалось в самых крайних случаях, поскольку отрывать мужиков от земли – последнее дело. Лето провожешь, а жрать потом что будешь? Так что, хоть и стояла слобода почти на самом шляхе от Смоленска до Москвы, ее никто не тревожил. Смоленские князья в ту пору как-то уживались с московскими без кровопусканий, благодаря сему обстоятельству в одинцовской слободе выросло целое поколение, не знавшее войны. Тьфу, тьфу, чтоб не сгладить...

\* \* \*

У Марьи с утра всё валилось из рук. И когда доила корову, и когда на зорьке выпускала ее вместе с телёнком за ворота на призывное хлопанье пастушеского кнута, и когда, вернувшись в избу, вздывала огонь в печи, ставила варево – она несколько раз замирала в раздумьях, оставляя занятия. Вечернее решение мужа отправиться в далёкую пугающую Тверь не шло из ума, ночь она провела почти без сна.

Мужчины, пока она хлопотала со скотиной, не перекусив, ушли в кузню и, если выйти в огород, можно было издалека видеть, как они долго вручную вкатывали в кузнечный сарай большущую телегу: то один, то другой приседал, наклонялся, размахивал руками, подавал знаки, затем они снова хватались за оглобли, а через неподвижный воздух тёплого утра до случайных зрителей долетали ядрёные звуки мужских споров. Наконец телега скрылась в черноте проёма, оба кузнеца вышли из сарая и пошагали к селу. Тут только Марья, спохватившись, обнаружила себя с пустым лукошком в руках возле огуречной грядки; она быстро сорвала несколько толстеньких, уже начинавших желтеть с переднего конца огурцов и поспешила в избу.

Ели молча, похрустывали огурцами, таскали деревянными ложками со сковороды пареную в яйцах с молоком репу, кусали хлеб – ржаной, с хрустящей верхней корочкой, обсыпанный побуревшей от печного жара мукой... Мишаня, объев со своего края самую вкусную загорелую пенку яичницы, рискуя получить ложкой по лбу, воровато лез на край деда. Старый кузнец, замечая проделки внука, лишь нарочито сердито двигал бровью да искоса поглядывал на невестку, докармливавшую с ложки младшего годовалого сына.

– Тять, – Мишаня решился прервать общее молчание: у тятки с мамкой несогласие, их не переждешь, – ребята на речку звали, можно я пойду?

– А? – очнулся от дум отец. – На речку? Сбегай, но недолго, смотри: после полудня на покос с тобой поедет, сено грести...

– Ладно! – Мишаня проворно допил молоко из кружки, перекрестился и полез из-за стола.

– Так! – сказал Никифор. – Вижу, ночь вас не рассудила! Давайте сейчас вместе решать...

Сноха промолчала, лишь ниже склонилась к ребенку, и на ее задрожавшую руку с зажатой ложечкой одна за другой капнули несколько слез.

– Да что я не понимаю, что ли, что не время уезжать мне? – в голосе Александра сквозила досада на себя, на жену, на весь свет. – А что поделаешь... Ржи нынче соберём не больше, чем сеяли, вся сгорела в такую сушь. Скотину тоже до следующего лета не уберёжём, только на корову сена хватит, бычка с телушкой осенью под нож придется пустить. А ведь скоро приставы заявятся: княжью долю отдай, церковную десятину плати, за кузню плати!

Он засопел, встал из-за стола, пересел на лавку ближе к распахнутому окну и, уставясь невидящими глазами на сонную млеющую под все более припекавшим солнцем кривую сельскую улицу, замолчал. Плечи жены судорожно затряслись от сдерживаемых рыданий. Старик кузнец, приобняв, погладил невестку по упавшей на его плечо голове:

– Ну, ну, будет, Машутка, успокойся – никуда он не денется, не впервой. Ты же знаешь: Сашка, он такой... выкрутится. Смотришь, недельки через три и возвратится! Правду ведь

говорит, не вытянуть нам в эту зиму. Добро бы только нам, а то ведь и матушка твоя на нём. После похорон батюшки она уж не работницей стала. Вся семья у нас – излом да вывих, на мужа твоего только и надежды. А из Твери воротится с прибылью, глядишь, и заживем! Он тебе и подарок какой в городе купит, монисту иль подвески серебряные... Мишане пояс шелковый, сапожки.

– Ой, да разве в подарках дело! – отрываясь от стариковского плеча, со слезами в голосе проговорила Марья. – Что ты меня как маленькую успокаиваешь? Нехорошо мне на душе, тоска какая-то...

– Ты это брось... ты гони тоску эту... накаркаешь, не приведи Господи! – закрестился кузнец. – Знаешь, как говорят: кому сгореть, тот не утонет. Ой, смотри: муха в молоко упала, точно – к подаркам!

Засмеялись все вместе, даже Марья невольно улыбнулась. Александр подошел, оторвал жену от старика, сжал в больших ладонях мокрое от слез лицо, поцеловал:

– Не бойся, родная, вернусь поздорову...

– Э-э, нет, – запротестовал Никифор, – знаю я вас, сейчас слюнявить друг дружку полдня будете. Пошли-ка, Саня, работу работать.

История замужества Марьи если и писалась где-то на небесах, то Марье в ней отводилось место не последнее. Когда-то давно, сразу после того как в соседях с домом ее родителей поселились приезжие черниговцы, семилетняя Машка заприметила высокого рыжего парнишку, сына кузнеца. Подружились они сразу, и хотя Сашка быстро прослыл задиристой, всегда готовой на драку отчаянной головушкой, со своей меньшей соседкой он обращался как заботливый старший брат. Временами даже казалось, что верховодит в этой странной парочке именно она, бывшая на целых два года младше. Сказывалось ли тут то, что ни у нее, ни у него не было сестёр и братьев, или что иное, но в детстве были они что называется «не разлей вода». Впрочем, у Машутки были и братья, и сестры, да только уж больно возрастные. Она еще сосала материну грудь, а старшие уже переженились и повыскакивали замуж. Машка была поскрёбышем, дитятком старых по деревенским меркам родителей; отцу ее, хромоногому Ягану, в то время уже перевалило на шестой десяток, и надо же – грех случился, девку родил. Оттого и любил старый Яган младшую дочь как последнее утешение в жизни. С тем и ушёл в могилу, успев благословить дочь под венец, тому девять лет назад: «Хоть и гультай твой Сашка, но парень башковитый...» Не прав был батюшка, Одинец гультем не был: носило повзрослевшего сына кузнеца по всей обширной русской земле, но забыть свою первую и единственную деревенскую любовь он не забыл. И вернулся к той, которая так долго ждала.

Почудилось: скрипнула наружная дверь, раздались шаги, кто-то долго завожился у двери в избу – в сенках было темно. Марья спустила с рук уснувшего ребенка, подошла открыть и лицом к лицу столкнулась с пришедшим.

– Доброго здоровья, Марья, – ражий мужчина шагнул в горницу, разгибаясь из-под низкой притолоки. Вглядевшись, женщина узнала гостя, отлегло от сердца.

– Здравствуй, Егор... Проходи.

Рогоуля уловил в голосе хозяйки смущение, она отступила, сторонясь, давая ему дорогу и торопливыми движениями заталкивая под платок выбившуюся непослушную прядь волос. Среди избы гость огляделся на простую, бедноватую обстановку жилища, дважды обмахнулся перстами на образа:

– Мужиков-то твоих нету дома?

– В кузне.

– А-а-а, это я им работенку подкинул. Ну, сейчас туда пройду.

Он снова огляделся, прошёлся по поскрипывавшим половицам, присел на лавку:

– На дворе-то так и печёт. Ты бы мне хоть квасу предложила.

Марья, вспыхнув лицом от оплошности, подала Егору ковш:

– Не настоялся еще квас, только вода есть, она студёная, утром с колодца брала.

– Ну, и за воду спасибо, – купец, принимая ковш, словно случайно задержал женскую руку в своей.

«Какая мягкая и маленькая ладонь у него, и перстней – на каждом пальце, – Марья отняла руку и невольно грустно улыбнулась, вспомнив жёсткие от трудов руки мужа. – Моего перстни носить не заставишь!» Егор, не понявший значения этой улыбки, отнёс её на свой счёт. Крупное, холеное лицо купца с подбритой на татарский манер узенькой бородкой оживилось:

– Вижу, не в шелках ходишь. Что ж твой Сашка у князя ничего не выслужил?

– Он не из тех, кто просит, – в голосе молодой женщины купцу послышалось что-то горделивое, но гордость такого рода ему была непонятна. Марья стояла возле зыбки со спящим ребенком, привычно покачивая её. Одетая она была в лёгкий обыденный сарафан и широкую белую рубаху, стянутую у ворота простым шнурком. Под складками немудрёной домашней одежды угадывалось сильное статное тело молодой женщины. Когда-то Марья признано считалась одной из самых красивых девок в Михайловской слободе. Теперь, в свои тридцать, в отличие от многих товарок детских игр, увядших от тяжёлой домашней работы, она была в возрасте наивысшего расцвета женской красоты. Ее лицо еще не тронули морщинки возле глаз, а сами глаза, серые, с наволокой прозрачной дымчатой голубизны, смотрели на гостя прямо и открыто. Рогуля встал и приблизился к ней:

– Не просит, говоришь? А мог бы ради такой жены и пересилить свою натуру.

Марья удивленно вскинула брови. Гость продолжал, всё ниже наклоняясь к ней:

– Вот я б тебя всю златом-серебром осыпал. Помнишь, на гулянках, бывало, я от тебя ни на шаг не отходил? Помнишь, какие подарки предлагал? Да и ночки те я не забыл.

Его красивый раскатистый голос перешёл во вкрадчивый шёпот:

– Да не любы тебе были мои подарочки... А я до сей поры помню тебя, и подарки мои ныне могли бы быть что королевнам не снились! Я теперь многое могу. Ехал сюда, всё думал, как увижу тебя. Ты ещё краше стала...

Марья стояла ошеломлённая страстным горячечным признанием, наконец, она смогла стряхнуть с себя наваждение:

– Не забывайся, Егор... Я – мужняя жена. Может, и нравился ты мне, да люб всегда другой был. И про ночи мне не вспоминай. Не было никаких ночек. Н-е-б-ы-л-о... Вспомни, и ты давно женат!

– Жена не стенка, подвинуть можно.

Марья окончательно пришла в себя, в её голосе прозвучала насмешка:

– И детишек тоже подвинуть?

Купец отпрянул как от пощечины. Он поднял с пола случайно оброненную шапку и пошёл из избы, но у самой двери обернулся:

– Ты, Марья, не зарекайся, будущего никто не ведаёт: и моя супружница все хворает, и твой муженек не вечен.

Это «не вечен» билось в Марьиной голове всю последующую вслед за тем неделю. Она не стала рассказывать мужу о посещении Рогули и поселившихся в ней опасениях. Напротив, выглядела успокоившейся и только была еще более нежна короткими ночами. Александр, видя жену спокойной, тоже повеселел:

– Не бойся, милая. Ведь сколько раз меня в дружину провожала! И хоть бы хны мне – ни царапины. А тут, подумаешь, в Тверь скатаемся... С Егорием за службу я на четыре золотых сговорился. Вот заживём!



\* \* \*

В Москве Одинец не был давно. Хотя, казалось бы, чего проще – от их села до стольного княжеского города и ехать всего ничего, верхом на хорошем коне за неполный день добраться можно, вёрст сорок. Но на этот раз кузнец ехал на телеге, которую без всякого воодушевления тащил страшно удивленный таким оборотом событий верховой Александров жеребец. Если честно, Кауруму было не в новинку быть запряженным в телегу: когда-то, рожденный на конюшне богатого смоленского огнищанина, он успел, выйдя на четвертом году из стригунков, потянуть хомут и отведать кучерского кнута. А потом всё вдруг переменялось, как в их лошадиных снах: жеребца заприметил на торгу московский дружинник и купил его за немилосердную цену, какую заломил конюшничий огнищанина и за какую в аду ему подбросят под котел лишнюю вязанку дров.

Так Каурый из простого ломовика превратился в боевого коня. И в упряжь он больше не попадал. Впрочем, крупной войны на смоленском порубежье, где его новый хозяин служил в полусотне пограничной стражи, в последние годы не было. Чаще это были мелкие стычки московских стражников с воровскими шайками, промышлявшими на торговых путях и до нитки обиравшими купеческие караваны, либо, что тоже случалось нередко, с купцами, норовившими лесными дорогами обогнуть мытные дворы князя московского, чтобы не платить «осьмину» – пошлину в восьмую часть стоимости ввозимого товара. Обозы купцов сопровождали хорошо вооруженные слуги или наймиты. Да и сами купцы не плоховали, когда надобно было взять в руки оружие, защищая свое добро.

Через некоторое время хозяин ушёл из дружины, потянуло на родину, и Каурый оказался в деннике конюшни, принадлежавшей старому кузнецу Никифору. Но и тут Одинец берёт его: тягловую работу в кузнецовом хозяйстве выполнял смирный и безотказный немолодой мерин. Сегодня же утром хозяин всё переменял, а когда Каурый заартачился, не желая спятиться в оглобли, взбрыкивая ногами и уворачиваясь от хомута, то получил такой шлепок тяжёлой хозяйской руки, от которого и за полдень саднило в скуле. Конь обиделся, потому и прощание с Мишаней, конячьим любимцем, вышло каким-то скомканным.

– Ты уж, Карька, тятеньку не выдавай, – попросил мальчишка, поглаживая ручонкой длинную морду с умными влажными глазами. Конь покосился на хозяина, всхрапнул, мол, да чего уж, ладно...

Александр, понаряднее одетый ради дальнего путешествия в чужие места – по одежке встречают! – скрипя лаптями, прощался с домашними: поцеловал жену, младшего сынишку у неё на руках, обнял старого Никифора, державшего иконку. Доска иконы больно уперлась в ребро при объятиях, Александр взглянул на неё, усмехнулся:

– Батя, ты хоть посмотри, чем меня на дорогу благословить собрался?

Старый кузнец ахнул: «Не разглядел впотьмах!» На сторбленной доске потемневшими от времени красками было писано положение во гроб Господа нашего, Иисуса Христа. «О, Боже! Одно к одному...» – тихонько вздохнула Марья. Пока кузнец бегал в избу, Александр принял из рук Мишани кнут, взъерошил сыну волосы: «Мамку с дедом слушайся!», щёлкнул вожжами и, на ходу вскидываясь на край телеги, выкатил со двора. Запыхавшийся Никифор, выбежав за ворота, перекрестил удаляющуюся повозку другой иконой. Там красовался Георгий Победоносец, не глядя тыкавший копьем завитого в бублик Змея.

– Вот эта в самый раз будет! – удовлетворенно сказал дед.

– И тут – Егорий... – вдруг вздохнула Марья.

– Подрасту, буду с тяткой ездить, он обещался, – сурово насупясь, сказал Мишаня.

Полуденный час застал их на полпути, остановились, въехав на голый с одной стороны пригорок. Оттуда разом глазу открылись широченные дали: пространство темнеющих дубовых лесов с редкими полянами, а за лесами – в тумане – главы церквей и колоколен.

– Вот и столица развиднелась, – сказал Одинец, завернул коня с телегой под тень густого орешника, взял бадейку и спустился вниз, к журчащему неподалеку ручью.

Столиц, стольных градов Александр на своем не таком уж длинном веку повидал немало. Бывал кроме Москвы и во Владимире, и в Суздале, и в Смоленске. Да и в Твери он, действительно, бывал. Стольный град – значит, город в котором удельный князь на престоле сидит. А уделов на русской земле с тех пор, как распалась Русь после смерти мудрого Ярослава, наплотилось множество. И в каждом уделе – князь, свой особенный государь, свою дружину содержит, свой суд над людишками творит.

Александр вернулся к повозке, не поленился, выпряг каурого, тщательно осмотрел холку, не натёрло ли где хомутом.

– Ожирел без работы, тунеядец, – ворчал он на ни в чём не повинное животное. – Ничего, ты у меня попляшешь! До самой Твери будешь телегу тянуть.

Жеребец, уткнувшись в бадью, торопливо глотал воду. По голосу хозяина он догадывался, что гроза за утреннее непослушание прошла, и надеялся, что его превращение в гужевую скотину не затянется надолго. Александр и сам втайне лелеял мысль, что в Москве, когда будет составляться купеческий обоз, он сумеет пристроить невеликую поклажу – весь товар, что смогли они с дядькой приготовить на торги, тянул всего пудов десять – на чей-нибудь неполный воз.

\* \* \*

Как удачно всё получилось, не всяк день так повезёт. С раннего утра Елоха лежал в зарослях тянувшихся вдоль дороги, караулил добычу. Прошли два небольших обоза, оба возов по десять-двенадцать, один купеческий, второй – скорее всего, княжий, при вооруженной охране. Эти Елоху не интересовали, не с их ватагой немалый поезд купчишек громить; про княжеский и говорить нечего: проехали, его не заметили – и ладно. И вдруг то, что ждал – одинокая телега на шляхе. Справный конь, большая поклажа, укрытая со всех сторон рядом и обтянутая веревкой, а на передке телеги один-единёшенек мужик покачивается, лапти свесив. Ещё больше возликовал наблюдатель, когда мужик, не доезжая до его лёжки, подал коня вправо, съехал под ближайшие кусты и, остановившись, принялся распрягать. Родничок, что находился неподалеку от этого места, пользовался большой славой среди дорожного люда.

Пятясь задом как рак, Елоха проворно отполз с обочины, и когда лесная чаща надёжно прикрыла его от глаза с дороги, побежал к лесной сторожке, где ждали Жила и Онфим.

– Совсем один? – недоверчиво переспросил Жила, сразу подбираясь как хищный зверь. – Ну, поторопимся тогда: гости позваны, постели постланы.

Высокий, мосластый, заросший клочковатой чёрной бородой, ниже которой из расстегнутого ворота рубахи выпирали жёлтые ключицы, тоже облепленные волосом, Жила был в этой троице предводителем. Двое его молодых подручников мало что знали о предыдущей жизни вожака, а спрашивать – себе дороже, посмотрит на тебя, аж душа в пятки уйдет.

Знали только, что у мельника, что на Вязовом ручье водяную мельницу держал, появился года два назад помощник. Предыдущего работника мельник, которого селяне самого видали тверёзым нечасто, якобы рассчитал за ежедневную пьянку. Впрочем, поговаривали, не в бражке дело. Говорили, что работник «знак получил»: будто водяной с ним разговаривал, к себе звал на житье, а как отказался работник, сильно грозился. Вот и кинулся тот помощник прочь, даже и плату, выдаваемую по обычаю после первого сентября – наступления крестьян-

ского нового года, ждать не стал, так и сказал хозяину, мол, отдай тому, кто вместо меня на это проклятое место придет.

Пришел Жила. Был он не местный, откуда-то из-под Коломны. Губной староста, взявшийся проверить, что за птица залетела на его землю, вскоре получил с проезжими купцами подтверждение: проживал в сельце под Коломной такой мужик, ушёл куда неведомо, недоимок за ним не числится. На том всё и успокоилось.

По нынешней весне, когда хозяина-мельника нашли утонувшим в бочажине под водобойным колесом, опять про Жилу какие-то шепотки поползли. Но Жила смело явился на разбор дела в губную избу и показал, что корысти убивать хозяина у него быть не могло. А коль теперь мельница, за неимением наследников у погибшего, отходит в княжескую казну, то он готов взять её в откуп и будет работать, если власти дозволят. Посудили, порядили и оставили мельницу Жиле.

– Мы ведь его только пужнём, а, дядя Прокоп? – Онфима, самого молодого из троицы, взяла дрожь. – Ты так говорил...

– Конечно, только пужнём! – оскалился в улыбке Жила. – А если после того он дух испустит, значит – Божья воля. Вы чего уши прижали? Как вчера на дело звал, так наперебой просились: помоги, дядя Прокоп, совсем худо жизнь пошла, избёнки у тятенок покосились, сапожки у добрых молодцев поизносились, девки нас не любят... Чтоб девки любили – денежки нужны! Вот и пойдем их сейчас добывать. Давай, давай, поживее с духом собирайтесь. Да дубинки прихватите. Для виду. Они вам не понадобятся, стойте рядом, да смотрите, как я с мужичком говорить стану. Учитесь, молокососы, пригодится и такая наука.

Одинец, растрясённый утомительной дорогой, сам не заметил, как заснул. Охалка сена в телеге служила ему постелью. В тёплом стоялом воздухе резко пахло луговым разнотравьем и слышался неумолчный ровный гул, в который ясным днем сливаются жужжание насекомых и щебетание птиц. Но безмятежный сон не был продолжительным, тревожное ржание жеребца вернуло Александра в явь: к телеге подходили три человека.

Жила, шедший первым, чертыхнулся от досады, увидев, что спящий проснулся. А как бы хорошо: один удар увесистой клюкой – и спи, мужичок, дальше, на ангелов любуйся. Теперь для тебя, деревенщина, все по-другому выйдет, зря проснулся.

– Здравствуй, мил человек! – Жила уже не спешил, можно и позабавиться напоследок. Давненько не хаживал он на дело. Почти забылось это сладкое чувство опасности, к которому примешивается что-то такое, что сразу и словами не объяснишь, когда держишь ты жизнь человеческую в своей руке да решаешь: жить тому или не жить. Не то что Богом себя ощущаешь (прости, Господи, за мысль грешную и горделивую), а и не просто человеком! Правда, на вопрос «жить или не жить» своим жертвам Жила всегда отвечал – «не жить». А как иначе? Иначе побежит ободранный растяпа прямиком в волость: «Карау-у-ул! Ограбили!». Вот и приметы злодеев... И повяжут их тёпленькими. Его, Жилу, конечно, им не взять, руки короткие, не от таких уходил: на тысячу верст леса кругом, беги, куда ноги несут. Только мельницу бросать жалко. Ведь обжился тут уже, да и возраст подходит к тому, чтобы не в лесной норе, как бывало прежде, зиму зимовать, а при своем углу, среди людей. Чтоб при встречах: «Доброго здоровья вам, дядька Прокопий!» И чтоб шапку ломали первыми.

– По здорову и вы, люди добрые! – мужик уже спустился на землю, стоял, тёр глаза.

– Куда путь держишь? – лениво, с расстановочкой проговорил Жила, давая знак Онфиму и Елохе зайти мужику со спины и одновременно приподнимая край грубой ткани, накрывавшей воз. – Какой товар? О-о, да ты богатенький у нас, как гость заморский. Чего ж один едешь, вдруг тати ненароком налетят, разбойнички?

– Ась? – спросил мужик, вертя головой и глупо взглядывая то на Жилу, то на стоявших за спиной. – Какие тати? Татей на этой дороге уж давно не водилось, мне сказывали.

Резким смехом засмеялся Жила, дурашливо трясая головой, заржал Елоха, хихикнул Онфим. Жила оборвал смех, глянул мужику в глаза своим страшным, чёрным с искрой оком:

– А вдруг мы и есть разбойнички-тати?

– Да как же это... – забормотал мужик, – как же тати? Тати – они не этикие, они, тати...

– Помолись, друг, на солнышко, – с наигранным сочувствием сказал Жила.

– Дядя Прокоп, ты ж обещался, – запротестовал Онфим.

– Да, дядя Прокоп... – поддержал дружка Елоха.

– Стойте, братцы, родименькие, – плаксиво закричал мужик, более обращаясь к жожаку, – я всё отдам!

Он кинулся к телеге и суетливо зашарил на дне под сеном: «Вот тут у меня было... вот... богатство-то моё... вот...».

Жиле уже надоел весь этот галдёж. «Пора кончать!» – решил он и, выхватив из-за голенища нож, ударил в согбенную мужичью спину. Неожиданно столь верный удар пришелся мимо: мужик именно в этот миг сунулся вбок и точёный булат лишь вспорол полу его широкой рубахи, а затем намертво впился в тележный борт. Жила отнёс сей казус к нелепой случайности и на короткое время упустил мужичка из виду, пытаясь освободить нож. И напрасно: в острый кадык на разбойничьей шее упёрлось острие меча. Куда и подевалась неуклюжесть и робость мужичка! Он выпрямился и оказался ростом даже чуток выше высокого Жилы.

– Ты, дядя Прокоп, отпусти свой ножичек-то, чего его дёргать, сломаешь невзначай. Вот так... Теперь знакомиться по-настоящему будем. Да вы, ребята, палки свои кидайте на землю, не стесняйтесь.

За спинами молодцев грозно фыркнул конь. От неожиданности все вздрогнули.

– Бей его, робята! – резко выкрикнул не упустивший момента Жила. И тут же почувствовал пронзительную боль в плече, навывлет пробитом быстрым выпадом Сашкиного меча. Падая на траву, Жила видел, как Елоха бросился на «купца», вращая над головой своей нешуточной дубиной, видел, как прыгнул купец под телегу и тотчас вынырнул с другой стороны, видел, как каурый конь взвился на дыбы и, выбросив вмах передние копыта, подмял замешкавшегося Онфима... Не видел жожак только, как по шляху с полуденной стороны к ним на полном скаку неслись несколько конников.

Одинец, уворачиваясь от бившей куда ни попадя кривой Елохиной дубины, всадников заметил. Он прыгал по возу, оступаясь, громыхая по разлетающимся из-под ног ухватам, котелкам и поварёшкам: «Неужто подмога им идет? Тогда – амба, не совладать...» В последнем яростном усилии он достал противника: со всего маху плашмя опустил меч на спутанные кудри Елохи. Тот закатил глаза и упал рядом с жожаком.

– Бросай саблю! – копыта всадников, окруживших телегу, закачали остриями перед Александром. – Бросай, говорят!

Одинец крутанулся на вершине воза, разглядел синий с красной оторочкой плащ десятника, тряпичные значки-треугольнички в цвета московского князя на копьях – «свои!» – бросил меч под ноги.

– Вот это я понимаю, битва при Гагамельях! – спешиваясь, насмешливо сказал десятник, оглядев вытопанную поляну. Упоминание древней битвы означало знакомство воина с широко ходившим по Руси жизнеописанием Александра Македонского.





– Гавгамелах, – поправил Одинец и, тяжело отдуваясь, спрыгнул с воза.

– Чего?

– Битва у греков при Гавгамелах была...

– Фи-и-ть! – присвистнул десятник. – Какие грамотеи на дороге встречаются. При... при деревне Сопляево. Давайте сказывайте, что приключилось?

– В Москву с товаром ехал, и тут эти трое, – Одинец, прихрамывая, принялся собирать разбросанную вокруг воза посуду.

– Да мы только поговорить хотели, – провыл с земли очнувшийся Елоха, – а он дёрганный какой-то... сразу за оружие... дядьку Прокопа насмерть убил... и меня с Онфимом тоже.

Десятник прошелся по поляне, глядя, как дружинники перевязывают оплывавшего кровью чернобородого, присел возле:

– Жить будет?

– Хрен его знает, кровищи-то вытекло...

Кривясь от боли, Жила пошарил под рубахой. Маленький мешочек, висевший на груди у мельника, незаметно перекочевал в карман на кафтане предводителя стражников.

– Ну, что: картина ясная, перетрухал купчишка, за разбойников мужичков принял.

– Мы из Ракитовки, она тут, за лесом. А Прокоп – мельник наш, мельница у него на ручье. А мы с Онфимом нанятые, зерно мелем. А сегодня лес на починку плотины метить пошли... Ой, убил, убил он дядьку ни за што, ни про што... – снова завыв Елоха.

– Да не верещи ты, – поморщился десятник, – и дядька твой живой, и дружок тоже. Хотя, конечно, потопталась на нем лошадка. Эй, Филька, – крикнул одному из дружинников, – отгони скотину, покуда не сожрала бедолагу!

Дружинник замахнулся копьем, Каурый шархнулся, по-собачьи задрал губу и оскалив крупные литые зубы, затем, победно подняв хвост, прорысил к хозяину.

– Хищник... – любуясь, уважительно протянул десятник. – Тебя, купец, мы с собой на Москву заберем.

– Меня-то за что? – изумился Одинец. – Чего с больной головы на здоров...

– А то! – перебил десятник. – Разобраться бы надо, что ты за птица. Скажем, по какому праву меч носишь? И кто позволил людей дырывать? Как звать? Чей будешь?

– Я тебе при них, что ли, исповедоваться начну? – вскипел Александр. – Давай уж вези до начальства.

– Вот ты как заговорил, – зло прищурился десятник, – ну, твоя воля. Не пришлось бы слезки лить, как в застенки к тиуну попадешь.

## Глава вторая

В тот август 1327 года от Рождества Христова Москва, стольный город небольшого удельного княжества, которым вот уже почитай шесть десятков лет правила младшая ветвь наследников Александра Невского, готовилась к великому событию. На праздник Успенья собирались освятить первый в городе каменный храм – собор в честь Пресвятой Богородицы, уже прозванный в народе для облегчения произношения просто Успенским. Для города сплошь построенного из дерева, начиная от избёнок ремесленников на окраинах посада, крытых соломой и камышом, и заканчивая княжескими хоромами, чьи тесовые крыши торчали много выше окружавшей их кремлёвской стены, появление полностью каменного строения было делом столь невиданным, что окрестный народ в продолжении всего строительства так и валил валом поглазеть на чудную затею князя Ивана Даниловича. Находились, понятно, среди зевак и знатоки – те, кому доводилось бывать в Ростове, Новгороде или Владимире и кто не понаслышке знал о могучих крепостных стенах, сложенных из диких камней-валунов в этих древних городах, кто видел и громадные златоверхие соборы с искусной вязью резьбы по белокаменным стенам. Знатоки с сомнением осматривали однокупольный и довольно скромный по размерам храм и роняли глубокомысленные замечания. Замечания, однако, тут не приветствовались, неосторожные словеса воспринимались как прямой поклёп и чаще всего завершались парой-тройкой тумачов от окружавших отечестволюбцев.

Мимо новенького храма, где спешно оканчивались строительные работы, всякое утро пролегалa дорога главного московского тиуна, большого боярина Василия Плетнёва. Путь был близок: боярские палаты стояли тут же в кремле. Стоило лишь выйти за ворота неширокого по стесненности кремлёвской земли боярского двора, вывернуть из переулкa на главную кремлёвскую улицу, упиравшуюся одним концом в Боровицкую башню, а другим в княжеский терем, и прошагать две сотни шагов по деревянной мостовой. Затем, как раз за новостройкой следовало повернуть влево, и впереди, возле крепостной кремлёвской стены, той, что своим фасадом грозно нависает над береговой кручей Яузы, можно было увидеть трёхаршинную ограду из стоймя вкопанных, затёсанных с боков и заостренных вверху сосновых бревен. Внутри ограды и располагалось место службы боярина Плетнёва – московская темница, тюрьма.

За поворотом боярин натолкнулся на двух горячо споривших мужчин. Первый из них, кафтан которого был одет прямо на голое тело и перемазан известью, держал второго за грудки и, напрягая жилы на побагровевшей шее, кричал: «А кто будет знать, кто? Ты когда доску обещался подвезти?!!» Второй, ватажный атаман московской плотницкой артели, молча сопел, безуспешно отдирая руки противника от ворота рубахи, и косил глазами в небеса. В первом боярин без труда признал подрядчика Федора Сапа, псковского каменных дел мастера, призванного московским князем вместе с артелью псковских же каменщиков на возведение небывалого храма: псковичи славились своим искусством работы с камнем. Кафтан на Сапе был с княжеского плеча, богатый: князь Иван Данилович пожаловал его мастеру по окончании возведения стен храмины. Все строительство заняло менее года, теперь шла отделка, и, конечно, артель в срок не укладывалась, отчего коренной подрядчик Сап лютел «зверинским образом».

Между спорящими и боярином неожиданно втёрся неизвестный холоп, державший в поводу незасёдланную кобылку. Парень остановился, привлечённый живописным зрелищем назревавшей драки, но тотчас к нему кинулся один из сопровождавших боярина слуг:

– Не засть, не просвирнин сын, не сквозишь!

Холоп оглянулся, ойкнул, узнав боярина – грозу всей Москвы – и, дёрнув конягу, пустился вдоль улицы.

– Ну, что, – не повышая голоса, сказал боярин Плетнёв, – двое плешивых за гребень дерутся?

Оба мастера разжали кулаки.

– Василий Онаньич, – с трудом переведя дыхание, прохрипел плотницкий артельный, – ты смотри, что этот анафема творит...

Гордый псковец Сап смело шагнул к боярину:

– Здравствуй, Василь Онаньич! Прости, что я шум учинил... Да как не шуметь, когда вот-вот храм святить, а у этих лодырей ещё работы на два месяца. Князь Иван Данилович позавчера на стройку заходил, обещался ноги вырвать, если к сроку не поспеем. А они тянут кота за хвост: то гвоздей нет, то доски, то железа... Купол на треть не завершон! Мало того, третьего дня артельно бражничали...

– У нас товарищ намедни с лесов сорвался, – хмуро возразил плотник, – помянули маленько, пригубили по чуть-чуть.

– Вы так поминаете, что чудо как все не поубивались! – вновь завёлся Сап. – Богомазы тоже хороши: ползают по стенам, ровно мухи сонные, а указывать им не смей! Мол, что ты, «руки-крюки-морда-ящиком», в нашем деле понимаешь! Наше дело богодухновенное... А то, что у великомученника Евпла две левых ноги нарисовали и потом полдня переправляли, это как, святой дух им нашептал?!!

При суетном поминании святого духа боярин осерьёзней лицом, недовольно сказал:

– Не зарывайся, Федька, думай что баешь. И вообще, ты это тысяцкому рассказывай, не мне. Стройкой тысяцкий ведаёт, ему и жалобись. Моё дело: после того, как Иван Данилович, долгих лет ему жизни, у вас ноги пообрывает, по оставшимся частям батогов всыпать. А теперь – брысь с дороги!

Внутри тюремного двора боярина тоже ожидал беспорядок: в узком пространстве метались несколько караульных, пытаясь изловить крупного каурого жеребца который скакал вдоль изгороди, ловко уходя от протянутых к болтающейся уздечке рук. Старший из стражников, заведя начальство, подбежал с объяснениями:

– Василь Онаньевич, вчера за полночь князевы дружинники с можайского шляха мужика доставили, просили твою милость разобраться, что за гусь им попался. А это его коняшка. Вот прямо перед тем, как тебе явиться, с привязи сорвался да и носится. Хитрый, подлец: узду зубами развязал...

Боярин недовольно мотнул головой и, воспользовавшись тем, что скакуна оттеснили в угол двора, прошагал в караулку. Там он по утрам, как было заведено уже много лет, знакомился с новым пополнением сидельцев: за ночь соседнее с караулкой помещение, в просторечии – блошница, наполнялось задержанными разных состояний и званий.

«Двенадцать человек. Из них две бабы распутных. Да еще одна: мужа зельем уморила. Четверо ремесленников за поножовщину. Хлоп, что у хозяина деньги украл. Три смерда беглых...» – бойко доложил подьячий с одуловатым землистым лицом, стараясь не дышать в сторону начальства.

Боярин уселся на лавку во главе длинного стола врытого толстенными опорами в земляной пол:

– Давай сюда того, чей конь на дворе скачет...

– Понял, – подьячий склонился над книгой с большими пергаментными страницами, куда вписывали всех новоприбывших, – назвался Алексашкой, прозваньем Одинец, кузнец из Михайловской слободы. Доставил его вчера с телегой и конём десятник Семён Тюрю за то, что на можайском шляхе дрался с ракитовским мельником и его помощниками. Мельника увезли в волость для разбирательства, если выживет, а этого сюда...

Одинец не спал почти всю ночь. Мешали пьяные споры обиженных друг на друга ремесленников; тихонько и занудно выла новоявленная вдовица, баба лет сорока, отравившая мужа. «Господи, Господи, за что ж ты исделал меня такой разнесчастно-о-ой, – горчайше всхлипывая, тянула баба, – как же ребятишки мои теперь, ведь пропадут малые? Что ж истязал-то



нас покойни-и-и-и-и-к? В чем вина-то моя был-а-а-а-а?» Только на рассвете Сашка немного забылся сном, постелив ватный армяк на не знавший веника пол. С облегчением он услышал свое имя, когда стражник кликнул его «на выход».

– За что сюда попал? – у грузного старика, сидевшего за столом в караулке и задавшего этот вопрос Александру, была самая обыкновенная и безобидная на взгляд внешность. Но Одинца этим было не обмануть, он подобрался, сон слетел. «Хорошо медведя в окно дразнить, – мелькнуло в голове, – а тут надо поосторожничать».

– Трем громилам на дороге моя лошадь понравилась, а я отдать не согласился, – с показным смирением ответил он.

– Куда ехал?

– Купец Рогуля, он на посаде за рекой живет, позвал до Твери торговым обозом сходить. У него спросите...

– Спросим, когда надо будет. А пока ты давай расскажи.

– А что рассказывать?

– Да всё! – боярин ласково улыбнулся, ни дать ни взять – отец родной. – Расскажи откуда родом... Грамотный? Ну, расскажи, где учился... Как батюшка с матушкой живут-поживают? Детишки есть ли? Говори, говори, ясный сокол, не стесняйся.

– Воля твоя, Василий Онаньевич! Родился я...

– Откуда меня знаешь? – остановил боярин.

– Да как твоей милости появиться, караульные кричали друг другу, мол, Василий Онаньевич изволит пожаловать!

– Ври да не завирайся, – скривил рот тиун, – кричал караульщик Степка Груздь, они его всегда на предупреждение засылают – сядет в крапиву под изгородью и сидит сычом, меня ждет. И кричал он вот так: «Опасись, служивые! Старый хрен на кичу ползет!» А? Што? Не так?

– Тебе, Василь Онаньич, лучше своих людей знать... А про меня: живу сызмальства в Михайловском, родители померли, грамоте наш дьячок розгами выучил, потом, пока отроком был в Даниловом монастыре прислуживал, там у отца Нифонта доучивался. Как в силу вошел, три года с владимирской артелью на стройках горбил... Ну, а дальше – попал в ополчение, когда десять годов назад наши вместе с татарским войском против литовского князя Гедимина хаживали.

– И наклали вам литовцы по первое число, – боярин поудобнее откинулся на лавке, высвобождая дряблую зобатую шею из тесного воротника. Подьячий кинулся подобрать длинные полы бархатного тиуновского опашня – чтоб не мели по земле, подоткнул их начальнику под ляжки и снова уселся – весь внимание – в сторонке с пером в руке.

– Ополчение наше припоздало, татары без нас по сопаткам получили. А меня тогда, когда ополчение распускали, как грамотного в младшую княжью дружину взяли. Служил сначала мечником на смоленском рубеже, потом подьячим, затем десятским. А теперь вот обратно в село вернулся.

– И меч со службы утянул... А должен ведь княжеский указ знать, что простолюдыю не полагается.

– Меч у меня дареный. Сам Иван Данилович за службу и пожаловал.

– Вот оно как! – в голосе тиуна уже не было прежней уверенности: кто его знает, вроде мужик мужиком перед ним, а, поди же ты... Он стрельнул зраком на подьячего, приказал: «Живо дуй на княжий двор, найдёшь стряпчего, боярина Кобылу, скажи, мол, Василий Онаньевич кланяется и про мечника Одинца выяснить желает».

– Грамотку бы мне, за вашей печаткой, – заробел подьячий, – вдруг стряпчий осердится?

– Осердится, значит, выпорет, я Кобылу знаю! После порки сразу сюда ковыляй, – тиун мелко затрясся в беззвучном смешке, видимо, самому шутка понравилась. – Но про Одинца

всё равно выведать должен. Князь наградами у нас не раскидывается, так что стряпчий может помнить. Ну, что, – вновь обернулся боярин к Одинцу, – посиди пока в холодной, подожди. Коль не соврал, выпущу. Чего же ты сразу на шляху страже не объяснил?

– Десятский торопливый попался, у той хари разбойничьей запазушный кошель поторопился взять.

– Сам видел? Забожись.

Одинец трижды перекрестился, поняв: «Миновало...». Побрякивая ключами на связке, стражник тянул его из караулки. Боярин блеснул перстнями на пальцах, кашлянул в кулак и, когда Одинец уже был на пороге, буднично, как бы между прочим спросил:

– Мельник-то, говоришь, ракировский?

– Ага...

– Надо будет познакомиться. Ну, иди, иди...

\* \* \*

Вечерело. Низкое солнце удлинило тени, мир стал полосатым; в оврагах и низинках за клубилась нарастающая мгла. Заблаговестил одинокий колокол, протяжный звук его бежал по дорожкам теней и исчезал вдали. Даниловская обитель отходила к покою: устало брела братия на вечернюю молитву, коей надлежало окончить ещё один земной день, наполненный общением с Богом и работой в поле или огороде.

Когда-то – теперь казалось, что с тех пор прошла целая вечность – Одинец был отдан дядькой-кузнецом на учение в эту знаменитую обитель. Сам кузнец, ни бельмеса не понимавший в грамоте, свято верил, что только настоящее учение способно вывести племянника в люди. Александр навсегда запомнил тот день, когда необычно праздничный дядька подвёз его, тринадцатилетнего отрока, к въезду в монастырь.

– Может, не возьмут они меня?

Дядька уловил в голосе Саньки крохи надежды и погрозил корявым пальцем: «Шалишь, брат! Я уж давнёшенько сговорился. Что, думаешь, зря такие деньжищи за этот подарок для отца Нифонта отвалил?» Он стукнул кнутовищем по пузатому трехведерному бочоночку, лежавшему в телеге: «Не родился ещё тот монах, чтоб против такой тяги к знанию устоял!» Медовуха глухо отозвалась на стук кнута.

К чести Сашкиного наставника дар кузнеца со временем вернулся последнему с лихвой. Всякий раз, отпуская ученика домой в село на короткие побывки во время сева или косовицы, отче Нифонт вручал ему жбан, наполненный тягучим медом: в монастыре пастырь занимался бортничеством, подвижнически предаваясь нелёгкому, но любимому делу. Впрочем, оно же, случалось, доводило монаха до греха: ему не всегда удавалось соблюсти меру в приеме собственноручно изготовленной медовухи. После памятной дарёной бочки отец Нифонт зачислил и старого кузнеца в ряды знатоков и поклонников благородного русского продукта.

– Поклон дядьке твоему от меня грешного. Пчёлки мои прошлым летом постарались. И твоя заслуга в этом есть, ибо много было у меня парнишек в учении, да таких успехов не казали! Только нос не задирай, это у нас, на московщине, редко кто читать-писать умеет, а вот в Новгороде Великом, почитай, все сплошь, хоть мужики, хоть бабы!

Снова ударил колокол. Ворота монастырской ограды уже закрывались.

– Стой, погоди, отче! – Одинец, подгоняя, тронул жеребца пятками. Щупленький монашек в бахромящейся по подолу истрепанной рясе оглянулся и, с трудом удерживая самовольно открывающуюся наружу массивную обитую железом створку, попытался разглядеть, кто его окликнул.

– Мир тебе, добрый человек! Ты в обитель?

– Я к отцу игумену.

– Отец игумен сейчас на службе в храме, я передам ему. А ты, пока совсем не затемнело, коня на конюшню пристрой, да и жди у странноприимного дома...

– Хорошо, отче! – Одинец спешился, помог монаху запереть ворота, заложив с внутренней стороны в огромные кованые скобы два массивных бруса. – А ты не сможешь отцу Нифонту передать, что, мол, Одинец Сашка повидать его хочет?

– Отцу Нифонту? – инок удивленно взглянул на Одинца.

– Что? – Сашка слышалась странная заминка в вопросе монашка.

– Так ведь преставился наш старый игумен нонче зимой. Не знал? У нас теперь настоятелем иеромонах отец Алексей.

Злая новость не сразу дошла до Сашкиного сознания, он улыбнулся, как будто услышал что-то смешное и несуразное. «Да будет завир...» – губы еще произносили обычные слова, но ум уже проняло и язык замер на полуслове. Лицо Одинца потемнело.

– Знавал, что ли, Нифонта, аль как? – в голосе маленького инока плеснулось сочувствие.

– Выученник я его мирской. Где похоронили-то?

– Погодь, погодь! Ведь я тебя вспомнил: приезжал ты сюда. Как же! И Нифонт частенько поминал, все письма твои показывал. Могилка его тут, за храмом, как раз с краю...

Монашек продолжал еще что-то договаривать, Одинец, не слыша его, торопливо зашагал тропой, ведя коня в поводу.

– Так я скажу после службы отцу Алексию? – крикнул вслед инок и, перекрестившись на неожиданно засиявший в последнем луче солнца крест на колокольне, засеменил к входу в храм.

На отца игумена имя, названное монахом, произвело немедленное действие. Игумен был занят тем, что мягко увещевал келаря Нектария за беспорядок на заднем дворе. Отец келарь, повывавший виды за свою долгую службу в монастыре, никак не мог привыкнуть к тёплой и душевной манере речи нового иерея, которого митрополит Феогност назначил игуменом меньше полугода назад; оттого келарь терялся и оправдывался нескладно.

– Одинец? – игумен поспешил окончить разговор с келарем: – Я тебя, брат келарь, попрошу весь навоз с задов за два дня вывезти. Ну, подумай сам, каково тебе будет по тысяче поклонов среди навоза бить каждую ночь, когда я епитимью на тебя наложу. А вывезешь – ни епитимьи, ни навоза. Спать ночами в своей келейке будешь. Ангелы райские станут сниться...

Игумен повернулся и пошел прочь. Келарь постоял, припоминая какие причины он забыл упомянуть в разговоре, поглядел на носки своих стоптанных юфтевых сапог с присохшими к ним соломинами (появление этих грязных сапог в храме и послужило поводом для разноса), но ничего не припомнив, вздохнул: «Мягко стелет, да жёстко спать! Придётся всех крестьян монастырских завтра собирать... Что я, магометанин на луну молиться?»

Монастырское кладбище было невелико. За те полвека, что существует монастырь, оно набрало едва сотню могил. Вечными его жильцами устроились по большей части не иноки, отдавшие свои молодые и старые жизни заступу за православных христиан и отмаливание разнообразных народных грехов; лежали тут по преимуществу московские толстосумы из бояр и дворян, успевавшие перед кончиной принять монашеский постриг. Была тут и могилка, особо посещаемая: под узорчатым высоким крестом из белого известняка покоился прах первого московского князя – Даниила, отца нынешнего князя Ивана Даниловича. До Даниила, как известно, Москва княжеской столицей не была, а относилась она, как простой крепостной городишко, к княжеству владимирскому, откуда и присылались в нее правившие воеводы. И вдруг – на тебе! – когда после неожиданной смерти Александра Невского его сыновья стали земли и княжества между собой делить, самому младшенькому, Данилке, Москву и отдали...

Последнее пристанище бывшего игумена было с заботой обихожено братией: аккуратный холмик, обложенный пластами начинавшей уже укореняться дернины, скромный деревянный крест в рост человека с одним-единственным вырезанным по желтой древесине словом

«Нифонт». Одинец зачем-то, словно проверяя крепко ли стоит, колыхнул крест, провел рукой по буквам надписи.

– Не без грехов наш учитель был, но, думаю, простил его Господь... – голос неслышно подошедшего сзади человека показался Александру очень знакомым.

– Семён? – не веря ушам, спросил Одинец.

– Он же Елеферий, он же отец Алексей, – улыбнулся инок, протягивая обе руки навстречу Сашке. Одинец было подался к нему, но замер:

– Так ты, значит...

– Новопоставленный игумен, – еще шире улыбнулся монах, забирая Сашку в крепкое объятие, – руки мне можешь не лобзать, а то ведь знаю я тебя, какую-нибудь гадость про старого соученика подумаешь! Ну, пошли, пошли в мою келейку, там говорить будем. Да и Нифонта помянем.

Жилищем настоятеля, к удивлению Одиноца, выдавшего роскошь игуменских обстановок в других монастырях, оказался маленький домишко на отшибе от главной монастырской улицы.

– Помнишь, ты навел нас, когда мы с учителем эту конурку для меня рубили? Я тогда ещё послушником был. А сейчас вот по старой памяти снова тут и поселился.

– Ну, плотники вы оба были ещё те! – Одинец ткнул пальцем в кривой неровный паз меж бревнами стены. – Замерзнешь ведь зимой...

– Да, мхом бы утыкать надобно, но время ждёт! – бодро согласился Алексей. – Входи однако, располагайся. Я пока в запасах пошуршу.

Загорелась свеча на небольшом столе возле единственного крохотного окна кельи, затянутаго, как в простой крестьянской избе, бычьим пузырем; инок вышел в сени, откуда начали раздаваться звуки поисков, дважды прерванные падением пустой железной посуды. Одинец с приязнью осмотрел строгую простоту кельи.

Простота, впрочем, отдавала нарочитостью: на грубом сосновом столе стоял роскошный медный чернильный прибор, судя по витиеватости отделки – византийской работы, узенький деревянный топчан покрывало теплое атласное одеяло, подбитое беличьим мехом, несколько полок, развешанных по большой стене, тоже выдавали своей изумительной резьбой руку большого мастера.

«Молодец, простенько... но со вкусом», – подумалось Сашке. Он вспомнил свое первое знакомство с послушником Елеферием, которое произошло здесь же в монастыре. «Птица высокого полета!» – сказал учитель тогда про лопоухого нескладного парня, сына одного из первых в те годы при княжеском дворе боярина Федора Бяконта. Боярский сын, презрев все выгоды блестящего положения отца, мечтавшего для потомка о такой же великолепной службе при князе, неожиданно для всех ушел в монастырь. И отец Нифонт, похоже, оказывался providem...

– Сразу подтверждаю твои подозрения, – сказал Алексей, вываливая на стол нашедшиеся припасы: полкаравая пшеничного хлеба, головку лука, несколько долек чеснока, – не пью. Но для гостя найдется кой-чего!

Он снова вышел в сени и вернулся с небольшим кувшином об двух ручках на узком горле:

– Купец-сuroжанин монастырю пожертвовал. Вино греческое! Будешь?

– Ну, если только из уважения к дому Божьему, – затащил Одинец, – так уж и быть... А кружки повместительнее в этом доме не найдется?

– Нет, – ответил монах, – давай потчуйся да рассказывай, как сподобился нас навестить?

Александр, не спеша, выцедил кружку:

– Мир праху отца Нифонта! А я ведь мимо Москвы не езжу без заворота в обитель. Последний раз два года назад навещал, тебя к тому времени уже к митрополиту батюшка твой



пристроил. Побей меня носом в пятку, если твое назначение и сюда без его хлопот обошлось. В неполных тридцать лет стать настоятелем такого монастыря, это, знаешь ли...

– Опять свое правдолюбие на друзьях оттачиваешь? – с укоризной сказал Алексей. – Тебя сколько раз из дружины начальство за правду-матку выгоняло? Всего два? Ой ли?.. Видно, только могила горбатого исправит. Ладно, скрывать не стану, конечно, и в церкви места иереев по-разному раздают. Ты считаешь, я – недостойн?

– Достойн! – Одинец поморщился. – Кисловатое... Конечно, достоин. По секрету скажу, я очень рад этому, но виду не подаю, чтоб тебе голову не обносило и нас, сырых, на улице узнавал.

– Что с тобой делать! – снова рассмеялся монах. – На тебя как на юродивого сердиться нельзя. Так как все ж поживаешь?

– Третьего сына жду к зиме. Или девку.

– Не жалеешь, что из дружины ушел? Большая ведь разница – или на княжеских хлебах, или в податном сословии...

– Если честно, иногда жалею. Мне здесь, конечно, вольнее, подальше от начальства; да и дело кузнецкое люблю – ты бы видел какие мы с дядькой врата для церкви отгрохали! А Марью с парнишками жалко. Чтоб прокормиться, нанялся с купеческим обозом до Твери сходить. Вот и заехал к отцу Нифонту за благословением на дорожку, а оказалось – проститься.

– То, что в Твери сейчас ордынцы, слышал?

– Слышал... Но ты ведь много больше моего знать должен.

– Мне эту историю пришлось с самого начала наблюдать. Два года назад прежний наш митрополит Петр отправил меня из Благовещенского монастыря, где я постриг принимал, в Сарай, к владыке Варсонию, «на выучку», как сказал. Ну, приехал, живу, служу в храме, язык монгольский помаленьку изучаю. Там, в Орде, каких только людей и языков не намешано! Это мы, не различая, всех их татарами зовем, а на деле служат монгольскому государю и половцы, и булгары, и китаи, и еще всякой всячины людской косой десяток... Настоящих-то монголов и татар сибирских с Батыем сто лет назад, говорят, всего четыре тысячи пришло... О чем, бишь, я? Ах, да! Живу я в Сарае... А здесь, на Руси, между тверским князем Дмитрием и московским Юрием очередная распря начинается. Естественно, по причине, по которой московские князья с тверскими уже двадцать лет враждуют: кто владимирский стол займет и, стало быть, первым князем на Руси будет!.. Ты наливай еще, если хочешь.

Но Одинец решительно отодвинул кувшин от себя:

– Как его, такое кислое, греки пьют?! Или привычка? Ну, продолжай.

– Позапрошлым летом в Орду к хану Узбеку является князь Юрий и просит возвратить ему ярлык на великое владимирское княжение. Всех Узбековых мурз и нойонов подарками задаривает: кому коня, кому сокола, кому панцирь с позолотой; жёнам ихним – соболей, украшений без счёта. Дмитрий Тверской, который уже три года как великокняжеский владимирский стол занимает, тоже немедля в Орду прискакал. Он отдавать великий стол, понятно, не хочет. И приехал не с пустыми руками. Подарки на татар сыплются с обеих сторон. Ну, поначалу всё идет мирно. Дружинники княжеские, конечно, втихомолку на ночных улицах друг другу зубы считают, но и только... И вот однажды оба князя как на грех в одно и то же время подъезжают к нашему храму. Меня об эту пору нелёгкая из церкви вынесла, и смотрю: спорят. А потом вдруг Дмитрий выхватывает меч и укладывает Юрия с одного удара. Никто понять ничего не может, уж очень всё быстро произошло. Вопли, шум... Доносят хану. Узбек, конечно, гневается. И Дмитрия Тверского казнят...

– А он на что надеялся? Ведь Юрий как-никак в свое время зятем хану приходился, на ханской сестре был женат, царство ей небесное!

– Ну, вспомнил! Это давно быльём поросло. Узбек того Дмитрию не простил, что произошло всё в ханской столице и без его, великого хана, соизволения. Что он за царь, коли под-

данные будут творить что хотят? Если б это здесь, на Руси, приключилось, то, может, только пожурил слегка. Сколько бояр и князей тут в междоусобицах гибнет, и ничего! Тот же Юрий двадцать лет назад рязанского князя у себя в темнице сгубил...

– Дальше-то что было?

– Дальше, прошлым летом, в Орду приезжают младшие братья убиенных князей.

– И все повторяется: подарки ханским прихлебаям и их жёнам, и вся прочая возня вокруг великого княжения?

– Сын мой, глаголешь ты неводержанно, но, по сути, верно. Александр, младший брат Дмитрия, в том споре подле престола великого хана превозмог нашего московского князя Ивана Даниловича, младшего брата Юрия. Ярлык на великое княжение Узбек отдал ему. Ивану он только подтвердил права на Москву и московское княжество.

– Да ведь Иван Данилович и так последних лет десять на Москве управлялся, пока Юрий за великое княжение бился!

– Верно. Но всё равно хозяином Москвы по старшинству считался Юрий. В общем, Иван Данилович вернулся из Орды, оставшись «при своих». А вот тверской князь Александр воротился с умопомрачительными долгами: наобещал Узбеку с три короба, что, мол, готов с русского улуса дани больше собирать. Да обещал и недоимки с некоторых княжеств вытрясти. Узбек – человек восточный: доверяет, но проверяет. Короче, в «помощь» великому князю он своего двоюродного брата прислал с воинским отрядом. Звать его Чол-хан, у него тысяча конников. Вот, пожалуй, и всё, что я знаю...

## Глава третья

Мерно катят колеса по широкой убитой тысячами конских и человеческих ног дороге на Тверь. Обоз первостатейного московского купца Рогули из шестнадцати гружёных с верхом подвод длинной сороконожкой растянулся среди зелёной чащи леса. Повозочные, разомлев от духоты и бесконечного мелькания в глазах шевелящихся конских ляжек, клюют носами; иногда кто-то спрыгивает на мохнатую от пыли обочину и трусит рядом с телегой, разгоняя дрёму.

– Эй, там, назади, подтянись! – Рогуля жёстко вытянул жеребца арапником, поскакал в конец обоза. – Чего расслабились?! Дома на печке отсыпаться будете, ироды. Тут земля не нашенская...

Ироды – это про своих холопов, их у купца в караване шестеро, остальной народ сборный: кто на своей телеге и со своим товаром, кто подряжённый в возчики Рогулинских возов за вознаграждение. В хвосте обоза рысью шли пятеро верховых: охрана. Одинец тоже ехал налегке, верхами. Рогуля, против его опасений, легко согласился дать место под скобяной кузнецовский товар на одном из своих возов. Затем, осанясь и уперев руки в бока, добавил:

– Мне тебя, Лександр, в простых возницах иметь выгоды нет. Ты деньги в охране отработашь. Сам понимаешь – коли что, с охраны и первый спрос. Упустите какой товар, с вас вычту.

«Эк, как его на своём дворе-то раздуло, – подумалось Александру. – Хозяином себя чувствует. Сейчас торжественную клятву дать потребует – помереть за его мошну».

– Ладно, как скажешь, – ответил Одинец, – люди мы маленькие, шкурка на нас тоненькая.

Купец дёрнул щекой, и разговор не продолжил. Дело происходило четыре дня назад на купеческом подворье, где собирался весь поезд. Высокий Рогулинский терем находился в глубине большого прямоугольного двора, обнесённого крепкой оградой, нижняя часть которой была выложена охристым рваным камнем-плитняком, завезённым, наверное, издалека: в окрестностях Москвы этого строительного материала найти было негде. В подмосковном Мячкове, правда, ломали камень, но он был светло-серый, почти белый.

От центральных купеческих хором двумя крыльями отходили крытые дранью дворовые постройки: ближе к дому несколько амбаров с массивными дверями, в пробоях которых висели трехфунтовые замки, далее – конюшня, коровник. На задах двора стояли свинарник и птичник.

Одинец достаточно наслушался в селе о богатстве своего земляка, как и о его нынешней гордой недоступности для бывших односельчан, чтобы, увидев воочию, испытать удивление. Не было и зависти, Александру только подумалось: «Что ж ты, купец-молодец, мать свою в селе оставил в плохонькой избёнке доживать?»

Одинец перегрузил свой товар в одну из Рогулинских телег. Всё время этих хлопот рядом неотступно крутился мальчишка, которого здешняя дворня кликала Илюхой. Глядя, как Александр загнал под навес освободившуюся телегу, отрок подавил вздох и сказал:

– Верхами пойдёшь, дядька? Вот бы мне на такой коняшке!

Левый глаз парнишки косил и, живя своей жизнью, норовил скатиться ближе к носу, под которым блестело обычное достояние деревенского детства. К этим наружным достоинствам добавлялось косноязыкое произношение: «р» ему давалось плохо и получалось «велхами».

Одинец улыбнулся, глядя на это явление, одетое только в длинную, с чужого плеча, истасканную рубаху ниже колен:

– Не спеши, коза, все волки твои будут.

– Как же, будут... – Илюха сердито свёл брови, отчего курносое добродушное лицо стало еще уморительнее, – у Еголия дождёшься, он всегда не по заслугам бьёт, а по заголку.

– По загорбку, значит? Ты из холопов или как?

– Батюшка мой задолжался купцу, теперь я по кабальной записи десять годов на него работать должен.

Проходивший мимо молодой конюх отвесил парнишке легкий подзатыльник – «Опять колокола льёшь про родителей?» – и обратился уже к Александру:

– Не слушай ты его, мил человек, врёт все. Сирота он круглый. Прибился вот ко двору, живет из милости, дурачок. А про отца и холопство заливает по глупости своей, весу себе набавляет, байстрюк.

Одинец поймал мальчонку, приподнял легкое тельце:

– Холопство, брат, последнее дело. Особенно, когда добровольно...

– Это верно, – подтвердил словоохотливый конюх, сваливая под ноги несённую им конскую сбрую с намерением обстоятельного и неспешного разговора:

– Но коней любит – страсть! И управляется с имя любо-дорого...

Одинец прошелся пучком сена вдоль лоснящегося конского хребта, вновь глянул на худенькие плечи подростка:

– Кормить-то, видно, его не всегда вспоминают?

– Да уж, у нас тут к еде никого не приневоливают. Березовой каши, правда, холопам вволю насыпают.

– Строг хозяин, стало быть?

– Не столь хозяин, как приказчик его, вон тот, Силантием звать. У некоторых из наших задницы от плетей заживать не успевают.

Одинец поглядел, куда украдкой указал холоп: в дальнем конце двора разговаривал с обозниками невысокий плотный мужик в щегольской синей поддевке. В обоих ушах приказчика висели золотые кольца.

– Да у хозяина нашего не только дворня стонет, – продолжал конюх, – жена с дочерью тоже по одной половице ходят, дыхнуть боятся. Тут намедни...

Одинец нетерпеливым жестом прервал его болтовню:

– Ты, дружище, не всё, что на уме, на язык пускай. Знать меня не знаешь, а бренчишь как коровье ботало.

– Зловледина! – вдруг вмешался в разговор Илюха, уловивший, что речь зашла о приказчике.

– Чё бы понимал! – конюх вновь легонько шлепнул парня и засмеялся: – Дурында! Временами невесть какую околесицу несет. А порой ляпнет – и в самую суть! Сиди и соображай, кто кого умнее: ты иль он?

\* \* \*

Выезжали под дружный гомон собравшегося на улице народа: возчиков пришли проводить матери, жёны и ребята. Блажили, заливались младенцы на руках, лаяли собаки. Угловое окно светёлки в доме распахнулось, и Одинец увидел, как в проёме появилась молодая женщина с бледным лицом, укутанная в шаль. Рядом с ней стояла худенькая девчушка, помахаившая купцу рукой. Рогуля чуть взмахнул ответно, пустил коня в рысь и съехал со двора, более не оглянувшись.

На четвертый день пути обоз пересек границу владений московского князя. Начинались тверские земли. В ближайшем селе повозки встречали приставы и мытари князя Александра. Мытари лезли на телеги, пересчитывали тюки, бочки и ящики с товаром. Рогуля с Силантием сопровождали их и до хрипоты спорили о цене лежавшего в ящиках и бочках: мыт платился со стоимости ввозимого товара. Затем, переругиваясь, все ушли на мытный двор. Силантий нёс под мышкой небольшой бочоночек, который позволил все дело закончить к вечеру полюбовно. Обоз двинулся дальше, но остановился на краю села; решили ночевать тут. Мужики сгоняли возы с дороги, распрягали лошадей, пуская их стреноженными пастись на небольшом лугу, за что отдельно было уплачено сельскому старосте.

При съезде с дороги Илюху постигла неудача: воз накренился в придорожной канаве, одна из сорокаведерных бочек выпала, отскочила крышка, из бочонка густой золотистой струей на землю хлынуло пшеничное зерно. Силантий, коршуном налетевший на Илью, отстегал того плёткой и сам лично, разогнав сгрудившихся возчиков, принялся собирать зерно и заколачивать обручи.

– Погоди! – орал приказчик и грозил совсем потерявшемуся пареньку. – Я вечером с тобой посчитаюсь!

Вечером он, действительно, приволок Илью к костру, за которым сидели охранники каравана.

– Ну, ложись, снимай портки, – Силантий, несколько умиротворенный перед ужином, говорил с веселой издёвкой, отчего предстоящая расправа выглядела еще зловещее.

– Может не надо, Силантий, не порть ужина, – попытался отговорить его один из охранников, разбитной малый с небольшим шрамом на скуле, видневшимся из-под легкой как пушок борода, – с кем не бывает! Ведь обошлось...

Одинец, сидевший у котла вместе с другими охранниками, поддержал Битую Щеку, как называли того все знакомые:

– Брось, Силантий...

Приказчик отпустил Илью и шагнул к поднявшемуся Александру:

– Ты кто такой? Ты что – большим человеком себя считаешь? Думаешь, коль в малолетстве за нашим хозяином объедки подбирал, так у тебя голос появился? Сядь и примолкни, тля!

Приказчик, привыкший к безропотному подчинению холопов, просчитался. Когда Рогуля прибежал на шум, он увидел катавшегося по траве первого помощника и Александра, задумчиво жевавшего травинку.

– Что случилось?!

– Поскользнулся наш Сила Саввыч, – сказал Одинец и, подхватив седло, служившее на ночлегах в поле подушкой, зашагал в темноту. Отходя, он слышал, как кто-то из охранников, наверное, Толстыга, вполголоса бормотал Рогуле:

– ... ногой... под коленку... а Силантий свалился, и вот кружит... говорить не может...

У костра, где сидели возчики, Одинец бросил седло:

– Чего сегодня на ужин?

– Каша с салом... – мужики, видевшие всё произошедшее, уважительно раздвинулись в стороны.

– И тут каша? – Одинец ощупал голенище сапога. – Кажись, ложку обронил...

На постеленный перед ним холст лёг каравай хлеба и четыре ложки – выбирай. Илья, возникший неизвестно откуда у него под рукой, поставил кружку и сказал:

– Дядя Саша, ты подожди чуток: мужики по такому случаю за пивом в село побежали...

\* \* \*

Еще через два дня путники слышали перезвоны тверских колоколов. Вскоре за широкими полями показался и сам город. Тверь! Одинец вглядывался в открывшийся у волжского простора город: девять лет назад не по своей воле он пришёл в него и не по своей воле покинул. Многое здесь переменилось: град разросся, посад был обнесен вторым частоколом, но между частоколом и окружавшими город лесами уже появились новые улочки, где поселился ремесленный люд и, очевидно, в самом недалеком будущем придется и этот расширившийся посад обносить третьим кольцом ограды. А дальше, за крышами посадских домов, за дымками, тянувшимися из мастерских кожевников, пимокатов, кузнецов, бондарей, оружейников – да мало ли в городе разных мастеров! – виднелись деревянные стены тверского детинца, кремля. Там, в кремле, проживал сейчас главный князь русских земель, ставленный над ней

волей далекого великого хана Узбека, или как называют его на Руси «грозного царя Азбяка» – князь Тверской и Владимирский Александр Михайлович.

Одинец опустил в седло, внутренне усмехнувшись на свой высокопарный настрой. Девять лет назад он мельком видел нынешнего правителя; тогда это был белокурый застенчивый выюнош, терявшийся в окружении сурового отца князя Михаила и старшего брата Дмитрия, неистовых воинов и правителей. Правители, правда, кончили свои дни мученической казнью в ханском Сарае.

«Как-то повернутся дела у этого молодого князя?» – мысли бывшего московского мечника повернули к уже второй день тревожившему его случаю. Той ночью, когда случилась короткая стычка с рогулинским приказчиком (Александр отлично понимал, что в этом шебутном коротышке он нажил себе вечного врага: да вон он мимо проскакивает на своей буланой кобылке, морду воротит, глаза злющие) Илюха, дождавшись когда над их табором повиснет густой храп коновозчиков, придвинулся к неспавшему Одинцу и зашептал:

– Дядь Саша, ты только забожись, что меня не выдашь... Я чё видел!

Он замолчал на краткий миг, но, не дождавшись клятвы, продолжил; видимо, раширало:

– А в той бочке-то, ну, что упала... Там под зерном – оружие и броня!

– Что ж особенного? – спокойно ответил Одинец. – Везут тайно на продажу. Знаешь, сколько пришлось бы заплатить в казну, если б открыто?

– А-а, – Илюха был разочарован, что все объясняется так просто, – понятно!

Следующей ночью, под самое утро, когда Александру выпало время обходить обоз дозором, он для пробы вскрыл два бочонка: в одном под слоем пшеницы, действительно, оказались несколько самострелов, в другом – десятка полтора мечей. И кое-что Одицца смутило: мечи не могли предназначаться для продажи, ибо слишком проста была их выделка, а рукояти обмотаны обыкновенной сыромятной кожей. Работа была не московской, это точно.

«Повоевать такой железкой денёк-другой можно, а продать – нет», – размышлял Одинец. Знал он и еще: московский князь не поощряет продажу оружия недружественным государям. Неужели Рогуля решился идти против воли Ивана Даниловича? Это было маловероятно. Над загадкой стоило подумать. Хотя, чего думать, голову понапрасну ломать? Его дело получить с купца обещанные деньги, а там трава не расти! Эх, хоть бы знать, как там Мария с дедом справляются? Да здоровы ли малыши? Машутка, Машутка, сероглазая моя...

\* \* \*

В Твери было неспокойно. С того декабрьского дня, когда весь городской люд, усыпав подъезды к Благовещенским воротам, радостно приветствовал вернувшегося из Орды князя Александра, минуло более полугода. Восторги поутихли быстро; конечно, гордость за свою волжскую отчизну, вновь признанную первым княжеством Руси, грела душу, но честь драгоценна лишь для народов благоденствующих. Какая радость городским беднякам, что где-то в каком-то пыльном городе Сарае неведомый писец вытиснил писательной костяной палочкой на золотой дощечке указ великого хана о великокняжеском достоинстве тверского князя? Да и не первый это был для Твери великий князь, как-то попривыкли.

Первым был его дедушка, Ярослав Ярославич, младший брат знаменитого Александра Невского. Тот ещё во времена ужасного Батые много-много десятилетий назад был назначен во владимирские князья. Но жить он во Владимир не поехал, управлял всем из своей любимой Твери. Во Владимир великие князья теперь заезжали только принять благословение от первосвященника-митрополита. И – поскорей в свою отчину, где, как известно, и стены помогают. А на владимирщине оставался лишь княжеский наместник.

Ярослав Ярославич, посидев несколько лет на главном престоле, застолбил туда дорогу и своему потомству: подошло время – великим владимирским князем признали его сына, а

потом и внуков. Не всё, конечно, катилось как по маслу, бывали времена, когда ярлык великих князей уходил на сторону, но рано или поздно он неуклонно возвращался в это семейство.

О превратностях судьбы тверских государей и судила-рядила поздним августовским вечером тёплая компания, собравшаяся в доме купца Гаврилы Поршня. За столом кроме самого хозяина, двух его взрослых сыновей и нескольких приглашенных по такому случаю торговых людей сидел московский гость Егор Рогуля. Егор и Гаврила были давно знакомы, имели общие дела, ходили вместе в обогащавшие обоих походы за Вятку, останавливались друг у друга, бывая проездом в Твери или Москве. Гость уже преподнёс подарки, предназначенные для хозяйки дома и двух снох; раскрасневшиеся от волнения и желания примерить обновки женщины удалились на свою половину, в горнице остались только мужчины. После первых чарок за «благополучный приезд» и «свиданьице» разговор пошёл о делах серьёзных, купеческих, а стало быть – государственных.

– Спору нет, – говорил Поршень, мужчина на пятом десятке, с большим достоинством носивший крупную лысину и расчёсанную на оба плеча пышную бороду, – оттого, что нашего князя хан Узбек отличил и во главе всей земли поставил, тверскому княжеству прямой приток. Вот даже нас, купцов взять: где самый большой торг? В Твери! Куда все товары стремиться станут? Опять же в Тверь! Верно ведь подмечено, у кого сила и власть – у того и золото.

Поршень остановился, предоставив возможность сидевшим за столом поднять за здравные чары за князя Александра – «дай Бог ему здоровья!» – и продолжил речь, перейдя к обычной для русского племени заключительной части – за упокой:

– Только палка о двух концах: князь, чтобы ханских ближников подмазать, денег назанимал – двух жизней не хватит расплатиться. И свою казну подмел до рублика, и у нас, купцов тверских, одолжился, и бояр своих порастряс. А когда и того не хватило, к сарайским купцам-бессерменам обратился. А теперь эти басурманы с ним сюда заявились. Как им он долги вернет? Ясно как: кому сельцо уступит во владение, кому какую волость отдаст на время – недоимки собрать. Да что говорить – на базарах и то начинают шишку держать: торгуют беспошлинно, цены сбивают. А нам, честным тверским купцам, как жить? Сплошной убыток...

Рогуля, уже отведавший пареное, жареное и варёное со всех блюд, коими устали стол гостеприимные хозяева, налегал на напитки.

– Да и в Москве у нас не лучше, – выпитое разлилось ярким румянцем по тугим щекам москвича, – Иван Данилович тоже басурманам мирволит. Их, когда Узбек магометову веру в Орде объявил, столько понаехало! Царь всех напужал, мол, или принимают новую веру, иль – секим башка. Вот и кинулись врассыпную кто старой монгольской веры держался.

– А какая она у них была старая-то? – спросил один из Поршневских отпрысков, как две капли воды похожий на отца, с тою лишь разницей, что там, где у Гаврилы светносно блистала лысина, Поршень-младший имел очень приличную причёску, густо промазанную лампадным маслом.

– Чёрт их знает. В Тенгри какого-то верили, по-нашему вроде как Бог – Голубое Небо. Да еще и несториан полно среди них было. Эти почти даже христиане. В общем, счас куда не ткнись, везде узкоглазые... И среди ремесленников, и среди купцов. И даже среди бояр: Иван Данилович тому, кто познатнее, боярство жалуёт. Обжились, дворы поставили.

– Это что! – хозяин, низко склонившись над столом, забормотал вполголоса. – У нас того похлеще. Месяца два назад сюда от Узбека приехал целый отряд. Тысяча иль того больше конников. И командует ими двоюродный Узбеков брат Шевкал. Народ его в Щелкана переиначил. Приехали, князю Ляксандру Михайловичу деваться некуда, поселил их в кремле. Там до сих пор и стоят постоем. И сколько уже от них жители натерпелись – страсть! Днями по городу разъезжают, что понравится – берут, не спросясь, баб и девок мы на улицу пускать боимся – враз пристанут и испортят, разбойники.

– А почему князю не жалуется?



– Что толку-то? Он сам как чужой на своем дворе, замки с его погребов и амбаров посбивали, едят и пьют на дармовщину. Так что, не в евойной это власти, а когда закончится – одному Богу известно. Это и обиднее пуще всего: ладно мы, рабы Божии, а то ведь – князь! И они его как простолюдина – ангельским ликом да в навоз! Ну, можно ль такое терпеть?!!

Рогуля, с пьяным сочувствием слушавший жалобы тверичей, потянулся к кубку, не угадал пальцами и разлил вино.

– Сюда слушай! – он сделал обеими руками знак, подзывая к себе всех находившихся в комнате. И когда головы слушателей сомкнулись над багровой лужей, расплывавшейся по белой в цветах и райских птицах скатерти, громко зашептал. – Мы, купцы, всегда заедино быть должны. Князья меж собой воюют, их дело! А без нас, хоть московских, хоть тверских купцов, и свет белый стоять не будет. И чего хочу вам сказать, братья: весть имею!

Кольцо лохматых теней на высоком потолке горницы разомкнулось, тени зашевелились, оглядываясь по сторонам, и затем вновь сомкнулись еще плотнее прежнего, когда их обладатели навалились на стол вокруг московского купца.

– А весть эта к нам, – Рогуля не уточнил, к кому это – «к нам», – пришла от верных людей из Орды. Слушайте: намерен этот Шевкал сам сесть на престол тверской. А может, и на владимирский...

– Да об этом уже и у нас поговаривали, – утвердительно кивнул головой кто-то из гостей.

– Вот! – обрадовался Рогуля. – А теперь в точности известно, что собираются татары избить насмерть всю великокняжескую семью и бояр его не далее как в Богородицын день!

– Так это же через неделю! – ахнули тверичи.

– То-то и оно... – многозначительно сказал Рогуля. И добавил, не сомневаясь, что это удесятерит скорость расползания слуха по Твери, – только уж вы, почтенные, обещайте – никому ни слова!

Тверичи на подозрение в болтливости обижено загалдели «Да мы... да никогда!» и начали расходиться, сгорая от нетерпения поделиться новостью с домашними.

Той же и всеми последующими ночами на постоялый двор, где остановился Рогулинский обоз, под покровом темноты стали приходить какие-то таинственные люди. Они шушукались с Силантием, приказчик вел их к бочкам, отсылал сторожей, и вскоре незнакомцы исчезали, сгибаясь под тяжестью длинных свертков.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.